



**ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ В.В. РОЗАНОВА
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ФИЛОСОФСКОЙ ТРИЛОГИИ
«УЕДИНЕННОЕ», «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ. КОРОБ ПЕРВЫЙ»,
«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ. КОРОБ ВТОРОЙ И ПОСЛЕДНИЙ»**

В.С. Синенко

От теоретической системы к хаосу жизни — таков путь Розанова. Начав с «философии понимания» («О понимании», 1886), он идет к живому бытию человека, подчеркнув тем самым абстрактность теории. От «концов» он обращается к «началам», пишет так, как писали до Гутенберга, до появления печатания. Абстрактная философия отвергается живой жизнью. «Моя «новая философия» уже не «понимания», а «жизни» началась с великого удивления...»¹, со встречи с семьей Рудневых. И он осознает уязвимость своей теоретической системы. Не случайно критики Розанова обратили внимание на то, что в любой его теории «нужно увидеть человека», который пробует себя «вне партийной идеи», вне догматов. В то же время его концепция литературного процесса в России отличается «достаточной определенностью».

Писатель считает себя «созерцателем», а не «действителем». Всю жизнь он наблюдал разрыв между тем, что происходило в душе, и ощущениями действительности. «Тело — корень духа. А дух есть запах тела» (2, 494). Жизнь души, по его мысли, соприкасается с ощущениями, но «лишь в некоторой части». Жизнь души имеет иной исток, другой толчок — «от Бога и рождения» (2, 418). Он признает, что это «несовпадение внутренней и внешней жизни» у него было с ранних лет, «часто и вредно, и разрушительно». И он пребывал в постоянном удивлении.

Психологическое самораскрытие автора как свидетеля эпохи и ее аналитика, создание собственного «учения», «пути Розанова», своего «домостроя» составляют содержание поэтического сюжета трилогии. Себя он считает и странником, и пророком.

Придя в мир, чтобы видеть, а не совершать, трагедию свою, как и всех людей, он связывает с временностью существования. Еще в «Легенде о Великом инквизиторе» этот мотив возникает в связи со спором Раскольникова и Свидригайлова. Розанов следовал

за Достоевским с его негативным отношением к партиям. Автор «Преступления и наказания» зло видит в общем строе исторически возникшей жизни, который невозможно уничтожить какими-то частными изменениями. С этим Розанов и связывает непримиримое отношение Достоевского к «нашим партиям прогрессистов и западников».

При внешней хаотичности изложения, присущей В.В. Розанову, в трилогии можно обнаружить идеи, оформляющие весь хаос повествования. Общая мысль — созидание и разрушение — пронизывает трилогию Розанова и выражается в разных формах. Это может быть притча, способствующая раскрытию общей мысли: «Малую травку родить — труднее, чем разрушить каменный дом» («Уединенное»)². Единая идея, разветвляясь, вовлекает в свое силовое поле разные характеры — в зависимости от преобладания в них разрушительных или созидательных начал. К первым Розанов относит сатиру XVIII в., Щедрина, Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, критиков Пошехонова, Стечкина. К другим — священника Устынского, Толстого, Достоевского, Буслаева, Тихонравова, Суворина. Устынский важен ему тем, что русский, и тем, что «из пророческого рода, весь апокалиптичен»³. Он — человек «правоты и чести», ему писать «катехизис». Это один из первых образов трилогии, основанных на противопоставлении: «мягкой» внешности и «твердого» слова.

Стоит говорить об идеологическом одиночестве В.В. Розанова, борющегося с позитивизмом, историческим детерминизмом. Повествование у него держится неравновесностью антиномий, натяжением мыслительной энергии, соединением плоти и духа, реальной истории любви и внутренней жизни автора-героя, реальности быта и метафизической мысли. В.В. Розанов противоречив. У него зачастую концы не сходятся с концами. Создав современную модель космоса, при-

роды, человеческой истории индивида, он не чувствовал «аналогичности», соразмерности мира. Поэтому случайное видел в том, что не было случайным. Он любил говорить, что вся его сорокалетняя жизнь — цепь случайностей: случайно влюбился, женился, попал в консервативное течение литературы.

Современный писатель считает, что ничего случайного в жизни Розанова не было⁴. Он чувствовал постоянное присутствие рока, отрицал для себя возможность выбора: никогда не выбирал, а шел в открытую дверь. Чем больше свободы, тем выше упорядоченность. Это его понимание достижения гармонии через хаос. Закономерно, что определение Канта, видевшего в антиномиях «коренные и идущие от самого начала противоречия нашего разума» и нашей цивилизации, было наиболее близко Розанову (1, 194). В конце «Уединенного» Розанов называет себя пророком, человеком улицы, который все говорит и не может остановиться («эти говоры (шепоты) и есть моя литература»⁵). Он пишет так, как ему «представляется». И утешается «в этом признанном положении, на которое все дали свое согласие»⁶. Именно поэтому, замечает Розанов, он не обязан писать верно историю или географию. «Не будь Шопенгауэра, мне, может, было бы стыдно, а как есть Шопенгауэр, то мне Слава Богу»⁷.

Розанову важна не внешняя реальность, а внутренняя жизнь, которая раскрывается в трилогии как процесс. В самопознании он идет от единичного, конкретного, отдельного к общему, к философским концепциям. Истоком розановской философии жизни оказывается быт, мелочи существования, частная жизнь. Природа его художественности определяется частным, повседневным, бытовым, переходящим в общее, бытийное, отвлеченное. Особенности мышления определяются способностью охватывать явление в его двуклости: унижение и очищение, нигилизм как явление бунта, как разрушительное начало и как сила, обладающая значительностью; безволие и воля, народ в его терпении и бунте; мгновение и вечность; связь — разединение через дисгармонию, хаос, алогичность — к гармонии. Поляризация идей дает ощущение необходимости их синтеза. Можно говорить о диалектике Розанова.

Кризисность культуры начала XX века проявилась в дисгармонии творчества многих писателей, в декадентстве, в эсхатологии мышления, в ожидании конца истории и культуры, в ожидании конца литературы.

Эта мысль проходит у Розанова как сквозная. Противоречивость мысли и образности Розанова — определяющая константа его творчества. Она во всем, о чем бы он ни писал. Так, даже правду он делит на мелкую и крупную. В очерке «Лев Толстой и русская церковь», говоря о маленькой правде Толстого, обвинявшего русскую церковь в слабом воздействии на народ, Розанов соглашается с великим писателем в упреках церкви, не учившей народ жить трезвой трудолюбивой жизнью. Но, видя эту «мелкую правду» Толстого, Розанов не может не упрекнуть его в том, что он просмотрел главное в Русской Церкви, выработавшей новый «тип святости» — «тип святого православного человека», которым вся Россия держится. В совести своей человек тревожится, что далек от этой святости и хочет достичь ее хотя бы ненадолго. «Святой человек», или «Божий человек», — образ, которого нет ни в одной церкви Западной Европы, когда человек отрекается от своекорыстия и славы. Главное для Розанова в том, что русский народ живет нравственной стороной. «Духовной жизнью он крепок. Русский народ никогда не отчаивается, всегда надеется», — считает Розанов (1, 368).

Характерное свойство мышления Розанова выражается в противостоянии явлений, характеров, позиций, чувств. По словам Бальзака, «правда жизни никогда не была и не будет правдой искусства». Розанову же были важны и правда жизни, и правда искусства. Хотя к правде он относится по-разному. Правда Розанова связана с его внутренней свободой, границы которой трудно определить.

В «Уединенном» он пишет о своей воле и безволии: даже глупый человек может водить его за нос, хотя он и понимает, что его обманывают, но не может поставить этого человека в неловкое положение. Автор связывает это со своим безразличием к внешней жизни и частично со своим «безволием». Почти пропорционально отсутствию воли к жизни (к реализации) писатель говорит о своей воле к мечте. И тут уж на него никто не мог воздействовать. Он не поддавался ничьему влиянию. Внешне на виду он был «всесклоняемый». В себе (субъект) — *абсолютно несклоняем*; «несогласуем». Какое-то «нарекание»⁸. Мечта же для Розанова заключалась в мыслях о мире, жизни, Боге, о связи людей. Э. Голлербах в книге «В.В. Розанов. Жизнь и творчество», написанной в 1918 году, приводит отрывок из письма Розанова к нему от 19 августа 1918 года, где Розанов, высоко

оценивая его работу о себе, лучшим в ней считает мысль о безволии. Розанов вспоминает слова Флоренского, сказавшего ему то же самое. П.А. Флоренский возражал Розанову, приписывавшему свое безволие собственным порокам: «Вы ошибаетесь: я очень присматриваюсь к гениальным людям, по биографиям и пр. Вообще, к людям исключительно одаренным, и нашел, чем они одареннее, тем слабее их воля над собою». Флоренский считает, что безволие Розанова свидетельствует только о том, что он «с детства был гениальным»⁹. Эта мысль Флоренского помогла Розанову понять размышления Голлербаха о своем безволии. Речь шла не о воле в отстаивании важных человеческих проблем, а о безволии при защите себя.

Об отсутствии воли над собой Розанов писал в «Уединенном», замечая эту «особенность у себя уже в детстве, с 7—8 лет, когда терял волю над своими поступками, выбором деятельности, “должности”»: «Никогда в жизни я не делал *выбора*, никогда в этом смысле *не колебался*. Это было странное безволие и странная безучастность. И всегда мысль: “Бог со мною”»¹⁰. И шел он «в какую угодно дверь» по единственному интересу к «Богу, который со мной», и по безынтересности, вытекавшей отсюда, в какую дверь идти. И входил в дверь, где было «жалко» и «благодарно». Это отсутствие внешней энергии, интереса к реализации себя, «воли к бытию», воли над собой Голлербах связывает с одаренностью Розанова. «Непростительной психологической ошибкой»¹¹ считал Голлербах желание увидеть в этой безвольной деятельности признак безличности, и напротив, считал он, крайнему индивидуализму, терзаемому, помимо всяких житейских передряг, глубокими и тяжкими внутренними антиномиями, в высшей степени свойственна такая слабость, такое безволие.

Э. Голлербах ссылается на З. Гиппиус, писавшую об антиномичности крайнего индивидуализма в живой душе в то время, как жесткие антиномии истязают и обессиливают душу. Вывод Э. Голлербаха удивил Розанова: «Принято думать, что гениальность есть сила, и что сила гениальности сказывается в творчестве. Но не вернее ли признать, что гениальность есть слабость, в той мере, в какой она представляет собой ненормальность... Гипертрофия одного из элементов душевной жизни возможна лишь при условии ослабления одного из других элементов. Вот почему у многих гениальных людей ос-

лаблена воля (при повышенной внутренней сосредоточенности). Чрезвычайная интенсификация сознания не дается даром и не проходит бесследно»¹². Э. Голлербах опирается в своих выводах на «Уединенное», в котором, в частности, говорится: «Чувства преступности (как у Достоевского) у меня никогда не было, но всегда было чувство бесконечной своей *слабости*...»¹³

Антиномичность Розанова — ключ к пониманию его мировоззрения, его отношения к миру. Все, писавшие о нем, говорят о хаотичности, бессистемности его мысли. Антиномии — способ познания природы, истории, человека. Антиномии — не просто противоречия, а два лика одного явления, которые ведут к синтезу. «Жизнь происходит от “неустойчивых равновесий”, — писал Розанов. — Если бы равновесия везде были устойчивы, не было бы и жизни. Устойчивость — застой — сон — остановка»¹⁴.

У Розанова стихия неравновесия не является деструктивным началом. С отрицанием «устойчивого равновесия» как источника развития связано отрицание писателем утопий. «Какая же чепуха эти «солнечные города» и «Утопии», суть коих вечное счастье. То есть окончательное «устойчивое равновесие». Это не будущее, а смерть... Мир вечен, тревожен, и тем живет»¹⁵. По Розанову, «изменчивость» входит в сам план мира. Небесные светила движутся «по эллипсисам», сбиваясь в сторону от прямой линии. Момент неустойчивости дает новые структуры, когда отдельный человек может влиять на все общество. Осознанные и подсознательные установки человека определяют его поведение. Без неустойчивости нет развития, устойчивость и равновесие — тупики развития. С точки зрения классической философии неустойчивость и неравновесие — негативные явления. Розанов — человек парадоксов и свободной мысли — видел в них (неустойчивости и неравновесии) способности развития. Разрушая, можно созидать. Хаос может быть конструктивным. Разрушая старые представления о семье, поле, браке, Розанов выдвигает новые, создавая свой «канон», свое «учение».

Розанов соотносит «начала» и «концы» явлений. «Начала всех вещей хороши, — считает он, — начало Революции, любви, молитвы и даже войны». Но длась, продолжаясь долго, эти вещи «сгибаются на сторону» («Эллипсис вместо прямой линии»). Вещи лукавят, дрожат, «стареют». Старость и страшна и радостна, из нее возникает юность. Юная

Реформация выросла из постаревшего католицизма, юное христианство — из постаревшего язычества, новая жизнь — из беззубой политики. Это корень жизни. «С великих измен начинаются великие возрождения» (2, 436). Из всего этого «привходит мой «цинизм», «бесстыдство»», — делает он вывод. Е. Барбанов в «Примечаниях» ко 2-му тому «Сочинений» Розанова приводит по неопубликованным гранкам, сохранившимся в архиве, диалог В. Розанова с К. Чуковским и П. Струве, в котором Розанов ратует за необходимость колебаний, поскольку колебания — первый признак жизни. От устойчивости мир закаменеет, заледенеет. Все творения человека — в «колебаниях», «переменах». Поэтому каждый предмет, явление нельзя оценивать одной мыслью. «Сколько можно иметь мыслей о предмете?» — спрашивает Розанов. «Сколько угодно, — считает он, — причем — в течение дня и даже часа. Истина заключается в полноте всех мыслей». Правда Розанова в том, чтобы ни об одном предмете не иметь одного мнения (Ни где «да» и ни где «нет»). А у него все спрашивают *одного определенного мнения* о революции, как и о других событиях. Розанов говорит об особенностях своего мышления, за которое его и обвиняли в идеологическом релятивизме.

Интерес к антиномиям и парадоксам отличает художественно-философскую публицистику 1910-х годов. О противоречии как «несовместимости бытия в человеческом уме» писал П. Флоренский. Мысль Пушкина о корнях русской души, простирающихся до «мирового хаоса», близка А. Белому. Князь Евг. Трубецкой в докладе «Свет Фаворский и преображение ума» говорил об антиномизме как популярной и типичной для современной интеллигенции точке зрения. В антиномиях он видел «непобежденный скептицизм, раздвоение мысли, возведенное в принцип и норму... утверждающееся в своем противоречии». Более того, Трубецкой выявляет логическую и генетическую связь между рационализмом и антиномизмом. «Рационализм возводит в принцип самодовлеющую мысль, из себя черпающую познание истины, а антиномизм освобождает ту же мысль от имманентной ей религии и нормы... Он объявляет свойством истины то, что на самом деле есть грех рассудка — его внутреннее распадение». «Антиномизм» он считает рассудочной точкой зрения, утверждающей противоречия нашего рассудка как «неразрешимые»¹⁶. Под знаком внутренней дисгармонии развивается

все творчество Розанова, тяготевшего всегда к прекрасному, нравственному человеку.

В романе Стендаля «Красное и черное» в салоне маркиза де ля Моля появляется граф Шалвье, циник и остроумец. «Почему от меня требуют, чтобы я сегодня думал то же самое, что я думал полтора месяца тому назад? Если бы это было так, мое мнение было бы моим тираном». Был ли Розанов циником или нет, он не мнения менял (хотя и печатался, где угодно, не считаясь с политической принадлежностью журнала). Это и есть его политический релятивизм, когда «убеждения менялись, как перчатки». Розанова удивляет, что все статьи о нем начинались с характеристики его «демонизма». Он не видит своего сходства с Ницше и К. Леонтьевым, которое ему приписывают. Критик А.К. Закржевский пишет о духовном родстве Розанова Федору Павловичу Карамазову. Душа Розанова уклончива и многообразна. До сущности ее докопаться трудно. Только постигнешь ее, она сменяется новой маской. Это критик и ценит в Розанове.

Суть своего времени Розанов видит в том, что оно «все обращается в шаблон, схему и фразу». Был Шопенгауэр, и «пессимизм стал фразею». Был Ницше, и «антихрист его заговорил тысячью лошадиных челюстей».

У Розанова новый поворот общей идеи: созидание — разрушение. «*Порядки* планомерность не составят ли общих человеческих отношений: а между тем, разве мы не любим иногда хаос, разрушение, беспорядок еще жаднее, чем правильность и созидание?»¹⁷ — пишет он в «Легенде о Великом инквизиторе». Приоритет хаоса им связывается с мыслью о человеке как о существе иррациональном в цельности своей природы. И сам Розанов переменчив: «...Раса славянская входит как внутреннее единство в самые разнообразные и, по-видимому, непримиримые противоположности. Дух сострадания и терпимости, которому нет конца, и одновременно отвращение ко всему хаотическому и сумрачному заставляют ее [расу] ...медленно, но и вечно созидать ту гармонию, которая почувствуется же когда-нибудь и другими народами». И вместо того, чтобы разрушать гармонию, они подчиняются ее духу. Двуликость мира обнаруживается у Розанова во всем. «Двигаться хорошо с запасом большой тишины в душе, например, путешествовать». Но и «сидеть на месте» хорошо только с запасом большого движения в душе. Кант всю жизнь сидел, но у него в душе было столько движения, что от «сиденья его двинулся мир».

Розанов представляет нам модусы жизни. Внешняя отрывочность, хаотичность и внутренняя связанность определяют характер повествования в трилогии Розанова и его закон стиля. В миропонимании писателя очевидна философия конца, философия апокалипсиса. Не раз он указывает на «Вечный плач» в своей литературе и вечный гнев на юдоль, холодную и бесприютную, на «внешнее место, куда мы загнаны». Боль, по Розанову, от несовершенства мира. Его потрясает «ужасная смертность» и «окончателность идей». В душе постоянно стояла борьба с роком, об этом он и плакал, и болел (2, 361). Писатель считает, что нет идеи «бессмертия души», а есть «чувство бессмертия души». И проистекает оно из любви, из «космической тоски» при разлуке в смерти: «За гробом встретимся». «Вечность “я” — это тоже вечность истины, на которой держится мир». Эту идею Розанов называет «нежной идеей», которая переживает «железные идеи». «Порвутся рельсы. Поломаются машины. А что человеку плачется при одной угрозе “вечною разлукой” — это никогда не порвется, не истощится». Розанов заключает: «Верьте, люди, в нежные идеи. Бросьте железо: оно — паутина. Истинное железо — слезы, вздохи и тоска». «Истинное, что никогда не разрушится, — одно благородное. Им и живите» (2, 343). Он отрицательно относится к пафосу equality. Ему не понятно стремление к равенству. Он иронизирует, ссылаясь на Гоголя, у которого Поприщин рвется к равенству с испанским королем, а Бобчинский — с губернатором. Розанову не верится, что «дух equality есть тоска всего униженного, скорбящего о себе, всего “половинчатого” — до уравнений с единицею» (2, 251).

Всю философию «с основания мира» Розанов делил на две: «философию выпоротого человека» и философию человека, которому хочется кого-нибудь выпороть. К первой он относил всю русскую философию. К философии жаждущего выпороть причислял как литературных героев (Манфред Байрона), так и Ницше и Ф. Сологуба. В то же время отмечал, что Ницше признали потому, что был страдающий немец, а русскому бы не простили этого духа: «Падающего еще толкни» («Уединенное»¹⁸). Философию выпоротого человека у русских Розанов видит в «непротивлении злу» как русской стихии. «Ни о чем я не тосковал так, как об унижении». Известность иногда радовала его «порсячим удовольствием», но ненадолго.

«Вступала прежняя тоска — быть, напротив, униженным». Смерть естественна, когда человек уже «сор», который должен быть выметен, когда есть чувство своей ненужности, в котором человек уверен. Но у Розанова дисгармония сменяется гармонией. Горькое чувство унижения переходит в «такое душевное сияние, с которым не сравнится ничто». Розанов приходит к мысли, что «высочайшие духовные просветления недостижимы без предварительной униженности». И тот, кто вечно торжествовал и был наверху, лишен этой «духовной абсолютности», то есть чувства просветления остались навеки скрыты» (2, 234). В унижении-просветлении Розанов видит тайну «всемирной психологичности»: «Человек лучше после страдания». В этом выигрыш демократии, ибо она «в нижнем положении», но у нее «нравственный ореол». Но, по Розанову, нужно знать «меру этого рока, направление его» (2, 241). Было бы скучно быть только хорошим. Его смущает собственная «ужасная неуклюжесть», то есть «ужасное уродство» поведения, до неумения «встать» и «сесть». Нет «сознания горизонтов». И от этого, чем более приближался к людям, тем становился им более неудобным. И от этого многие от него страдали.

Итак, по Розанову, через унижения, боль, страдание идет переход к восхождению, духовному возвышению. Антиномия «унижение — восхождение» завершается гармонией (духовный «низ» переходит в духовный «верх»). Розанов пишет в «Уединенном»: «Даже представить себе не могу такого беззакония, как я сам». «[Раньше] идея “закона” как “долга” никогда даже на ум не приходила, — признавался писатель. — Только читал в словаре на букву Д. Но не знал, что это, и никогда не интересовался. Долг выдумали жестокие люди, чтобы притеснить слабых. И только дурак ему повинует. Но в старости “начинает томить неправильная жизнь” в том смысле, “что не сделал должного”...» (2, 247). «Раньше я всегда жил “по мотиву”, то есть по аппетиту, по вкусу, по “что хочется” и “что нравится”». Итак, «хочется», «нравится» и «долг», «закон» противостоят у Розанова друг другу. Главное для него было «мой вкус». Постоянно Розанов ощущал слияние своей жизни с Божеским «хочу», то есть было «мое хочу». «О мое “не хочется” разбивается всякий “наскок”, я почти лишен страстей, — признавался Розанов. — “Хочется” мне очень редко. Но мое “не хочется” есть истинная страсть... Я “соучаствую” миру. Только отка-

тился куда-то в сторону и закатился в канавку. И из нее смотрю — только с любопытством, но не с “хочу”»¹⁹.

Антиномии Розанова свидетельствуют о культурном размахе его личности, способной воспринимать противоречивые явления в их соотнесенности, иногда даже в их связи, как, например, движение и покой. У Розанова было внутреннее убеждение, что «все, что я говорю — хочет Бог, чтобы я говорил». И эта вера его доходила «до какой-то раскаленности» (2, 248). В таких случаях выговаривание того, что было на душе, обладало таким «напором силы», что едва ли могли бы сохраниться «чужие законы, чужие тоже убеждения» (2, 249). В такие минуты он чувствовал, что говорит какую-то абсолютную правду, как это есть «в мире, в Боге, в истине, в самом себе».

Естественно, что в этике Розанова соотношение лжи и правды является важнейшей антиномией. Розанов удивляется сам, как он «уделялся с ложью». Она никогда его не мучила. И странный мотив поведения: «А какое вам дело до того, что я *в точности* думаю, чем ли я *обязан* говорить свои настоящие мысли?» — и было оправданием лжи. Розанов не может не заметить и не сказать о своей субъективности, глубочайшей субъективности, которая и давала ему право отвергать всех, кто хотел в нее проникнуть. Возникает образ занавески, спрятавшись за которую, он жил и никого не пускал за нее. «Я жил сам с собою и был правдив». А что говорил «по сю сторону занавески», то есть для себя, в уединении, никого не касалось. Он отвергает критику, требующую, чтобы он говорил и делал только полезное, а если вредное, то не принимали. Розанов предлагал свой афоризм, который сформулировал так: «...в 35 лет: Я пишу не на гербовой бумаге (т. е. всегда можете разорвать»²⁰.

Розанов признается, что любви к правде у него никогда не было, и представить даже ее он не мог. И если в большинстве случаев писал искренне, то «по небрежности». Чтобы солгать, надо было трудиться, выдумывать, сводить концы с концами. Проще «сказать то, что есть». И вот это «клял на бумагу, что есть»... и «образует всю мою правдивость. Она натуральна, но она не нравственна»²¹. Правдивость он рассматривает естественную (по небрежности, как есть) и нравственную, отвечающую пользе, не приносящую вреда. И ему часто казалось, что он самый правдивый и искренний писатель: «Так меня устроил Бог». Ори-

гинальная мысль, никем до Розанова не высказанная: правдивость бывает нравственная и не нравственная. Не нравственная — это натуральная, как есть, по небрежности, а нравственная — отвечающая пользе, долгу, необходимости.

«Любовь исключает ложь, первое “я солгал” означает: “Я уже не люблю”» (2, 253). Розанов боится умереть с неправдой.

«Слава — змея. Да не коснется никогда меня ее укус». Розанов говорил, что вся его литература происходит от греха, что через этот грех он познавал все в мире, и через грех (раскаяние) относился ко всему в мире. А это значит, что литература его безнравственна. Себя Розанов и возвышает, и унижает одновременно. Свою «противоречивость» он объясняет просто: «...сердце и идеал было во мне моногамично, но любопытство и воображение было полигамично. И отсюда один из тягостных разрывов личности и биографии. Я был и всешатаем, и непоколебим» (2, 601). Анализ внутреннего мира личности и состоит в выявлении этих противоречий. Для Розанова бесспорно, что нельзя быть сильным без веры в себя. Но вера в себя развивается в человеке нескромностью. И одной из труднейших задач жизни и личности становится разрешение этого противоречия, считал он, о чем писал Н.И. Перцову.

О своем идеологическом релятивизме Розанов говорит спокойно, признавая его естественность. Определение антиномий по Канту Розанов дает в статье «Христианство пассивное или активное?». «Антиномиями» Кант назвал коренные и идущие от самого начала противоречия нашего разума, и есть такие же противоречия в нашей цивилизации. Розанов считает: Евангелие — книга «целомудрия, возведенного к абсолюту», а цивилизация — «первая, где проституция регистрируется».

Не удивительно ли, что Розанов при всей бессистемности, неточности, разбросанности воспринимается как писатель определенной идеи. Мы погружаемся в его хаотический мир и обнаруживаем твердое и сильное начало, мысль, собирающую разрозненную жизнь в упорядоченную вселенную. Это мысль о человеке, его свободе, его праве на счастье. Это его вера в возможности человека, в силу его нравственности. «Сколько прекрасного встретишь в человеке, где и не ожидаешь, — пишет он и тут же заключает о себе: — Каждая моя строка есть священное писание, и каждая моя мысль есть священная мысль, и каждое

мое слово есть священное слово»²². Розанов уже назван человеком, построившим ограду русской культуры»²³. Сам же он признавал, что это Бог держит мир в крепком объёме.

Он создавал широту своей мысли и неизмеримость горизонтов. На этих координатах и создавал русский мир. Розанов писал о высоте своих устремлений, которые, однако, не упирались в твердую землю, не имели крепкой укорененности. В «Уединенном» он обозначил источник своего непостоянства: «Голова моя качается под облаками. Но как слабы ноги». Эта мифологическая антиномия, соединяющая силу интеллекта и слабость почвы, слабость самостояния, становится символом русской судьбы в трилогии писателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Розанов В.В. Сочинения. Т. 2. М., 1990. С. 342. Далее ссылки на это издание даются в скобках с указанием тома и страницы.

² Розанов В.В. Уединенное: Сочинения. М., 1998. С. 395.

³ Там же. С. 391.

⁴ Галковский Д. Бесконечный тупик. М., 1998. С. 5.

⁵ Розанов В.В. Уединенное. С. 455.

⁶ Там же. С. 456.

⁷ Там же.

⁸ Там же. С. 419—420.

⁹ Голлербах Э.Ф. В.В. Розанов: Жизнь и творчество // Розанов В.В. Уединенное. С. 865.

¹⁰ Розанов В.В. Уединенное. С. 435.

¹¹ Там же. С. 802.

¹² Там же. С. 870.

¹³ Там же. С. 435.

¹⁴ Там же. С. 482.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Вопросы философии. 1989. № 12. С. 124.

¹⁷ Розанов В.В. Легенда о Великом Инквизиторе // Он же. Уединенное. С. 43.

¹⁸ Розанов В.В. Уединенное. С. 418.

¹⁹ Там же. С. 522.

²⁰ Там же. С. 434.

²¹ Там же.

²² Розанов В.В. Сочинения. Т. 1: Религия и культура. М., 1990. С. 194.

²³ Галковский Д. Указ. соч. С. 1.